

Дистанция Мандельштама

лекция

О Мандельштаме написано множество томов мемуаров, филологических и литературоведческих исследований, статей и эссе. При таких обстоятельствах, намерение рассказывать о нем подразумевает – если только это не чисто «просветительский» проект для школьников или людей далеких от литературы – желание передать какое-то личное к нему отношение. И цель при этом одна: «заразить» слушателей этим отношением...

Мандельштам – это поэт, в котором судьба и голос представляют неразделимое целое. Читайте Мандельштама – и вы узнаете о нем все, так можно было бы сказать. Но дело в том, что микрокосм его поэзии-судьбы представляет явление такого масштаба, что порождает творчество уже на метауровне среди тех, кто пытается осознать место этого микрокосма в человеческом самопознании...

Как примеры такого творчества могут рассматриваться и вступительные статьи к его собраниям сочинений, например – статья Сергея Аверинцева **«Судьба и весть Осипа Мандельштама»** (к собранию сочинений в двух томах 1990 года), статья Никиты Струве **«Судьба Мандельштама»** (к собранию сочинений в 4 томах 1991 года). В том же 1991 году вышла статья Павла Нерлера **«Слово и судьба Осипа Мандельштама»**, вошедшая, затем, в огромный том его посвященных Мандельштаму работ (Сon amore: Этюды о Мандельштаме. М. 2014).

Все это, к счастью, делает мою задачу вполне заурядной и предсказуемой: я буду говорить только о том, что кажется лично мне интересным и важным в Мандельштамовском микрокосме. Что завораживает в нем и поддерживает на жизненном пути.

1. Оглушительные полразговорца

Менее всего я хотел бы говорить о Мандельштаме в разрезе избитой темы «Поэт и царь» или «Поэт и палач».

Да, он идеально подходит на роль поэта, погубленного тираном за брошенный ему вызов.

Увидев в мае 1933 в Старом Крыму **«тени страшные Украины, Кубани»** (описанные им в стихотворении **«Холодная весна. Голодный Старый Крым...»**) Мандельштам пришел в состояние окончательной несовместимости с тем подлым общественным бытием, которое уже было охвачено культом вождя и было вполне расчеловечено для последовавшего вскоре развертывания массовых репрессий. И одним из проявлений этого его состояния и стали **«Стихи о Сталине»** (неофициальное название):

**Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.**

**А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,**

**Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.**

**Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.**

(Примечание: выбор вариантов тех или иных стихов здесь и далее – на совести автора.)

Эти стихи Мандельштам читал всем подряд, и потому никого особо не удивил его арест в мае 1934. Удивил мягкий приговор: ссылка. Во мнении окружающих, наказанием за такую «пощечину» вождю полагалась смерть...

Но для Сталина это стихотворение хотя и было дерзостью, вовсе не было оскорблением: оно ему, очевидно, понравилось! И прежде всего тем, что его брутальный и грозный образ был дан несоизмеримо выше «тонкошеих вождей» и «полулюдей», услугами которых он действительно играл и расправы над которыми были уже не за горами. Именно таким – грозным казнителем – и намеревался стать, вслед за Иваном Грозным, Сталин в сознании масс!

(Похожая чем-то ситуация возникла и в наши дни с фильмом Звягинцева «Левиафан». Попытка запрета фильма, предпринятая поначалу чересчур ретивыми функционерами, была пресечена, очевидно, с самого верха: Путин разглядел в фильме декларацию могущества созданной им системы управления – каждый, кто пойдет против этой системы, будет ею раздавлен.)

Глубинная чуждость Мандельштама режиму заключалась не в этом «бунте» против вождя, а в его абсолютной творческой свободе, которая была совершенно невозможна в среде прирученной и выдрессированной «творческой интеллигенции». Эта несовместимость вылилась в открытые формы и закрепилась в процессе полугодовой истории, названной Павлом Нерлером «Битвой под Уленшпигелем» (травля, где поводом стал мнимый плагиат Мандельштама по вине издательства), которая, в результате, открыла миру совершенно нового поэта Мандельштама – того самого, которого он сам охарактеризовал как «наплывающего» на русскую поэзию и «меняющего ее химический состав». Манифестом этого нового Мандельштама стала **«Четвертая проза»**, к которой мы, далее, еще обратимся. А высшей точкой такой свободы стали **«Стихи о неизвестном солдате»**, которыми я закончу лекцию.

2. Гражданственное начало

Истоки этого творческого преображения Мандельштама, возведшего его на уровень пророка в охваченном моральной деградацией обществе, изначально имели определенные корни в его мировосприятии. «Народовольческом», если так можно сказать.

И здесь я обращусь к его юности, проходившей в пространстве Тенишевского коммерческого училища (Санкт-Петербург), где и появились его первые стихи.

Синявский как-то выразился о Пушкине, что он «вбежал в литературу и произвел переполох» «на тоненьких эротических ножках». Но эти «эротические ножки» отнюдь не были «тоненькими»; они несли совершенно недетскую зрелость, так поразившую его лицейского товарища Пуцина, которому Пушкин прочел:

**От всенощной вечер идя домой,
Антипьевна с Марфушкою бранилась;
Антипьевна отменно горячилась.
«Постой, – кричит, – управлюсь я с тобой;
Ты думаешь, что я уж позабыла
Ту ночь, когда, забравшись в уголок,
Ты с крестником Ванюшкою шалила?
Постой, о всем узнает муженек!»**

**– Тебе ль грозить! – Марфушка отвечает:
Ванюша – что? Ведь он еще дитя;
А сват Трофим, который у тебя
И день и ночь? Весь город это знает.
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
А всякого словами разобидишь;
В чужой ----- соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна.**

А вот теперь посмотрим, на каких «ножках» «вбежал в литературу» 15-летний Мандельштам:

**Среди лесов унылых и заброшенных,
Пусть остается хлеб в полях некошеным,
Мы ждем гостей незваных и непрошенных,
Мы ждем гостей!**

**Потом развяжет их уста нечистые
Кровавый хмель!**

**Пускай гниют колосья незрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,
И не сносить нам, честные и смелые,
Своих голов!**

**Они ворвутся в избы почернелые,
Зажгут пожар, хмельные, озверелые...
Не остановят их седины старца белые,
Ни детский плач!**

**Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбища тенистые,**

**Среди лесов, унылых и заброшенных,
Мы оставляем хлеб в полях некошеным.
Мы ждем гостей незваных и непрошенных.
Своих детей!**

(Вот в этих «своих детях» – недетская зрелость и юного Мандельштама!)

Аналогичная тема и в следующем его стихотворении того же года «**Тянется лесом дороженька пыльная...**», которое предрекает грядущее:

**Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обагрятся в крови!**

Таким образом, «ножки», на которых Мандельштам «вбежал в русскую поэзию», самые что ни на есть революционно-народнические; он читает Каутского, Маркса, а в 16 лет вступает в партию эсеров.

Если посмотреть на интонацию и «фактуру» этих юношеских стихотворений, то мы явственно чувствуем мотивы народничества и гражданского протеста, внесенный в русскую поэзию Некрасовым (за который Булгарин характеризовал его в своем доносе как «отчаянного коммуниста»). Звучавшие у Некрасова, например, так:

**Народ! народ! Мне не дано геройства
Служить тебе, плохой я гражданин,
Но жгучее, святое беспокойство
За жребий твой донес я до седин!**

Вот это-то Некрасовское «святое беспокойство» за «народный жребий» и читается в стихах юного Мандельштама.

Что было дальше?

Попытаюсь ввести некоторую условную периодизацию Мандельштама – поэта.

Таких периодов я вижу 5; вот их условные, перетекающие друг в друга временные рамки:

- 1909-1914 («акмеист»)
- 1914-1924 («постакмеист»)
- 1924-1930 («двuruшник»)
- 1930-1937 («отщепенец» и «пророк»)

3. «Акмеист»: 1909-1914

Чисто «акмеистический» Мандельштам представим первым изданием своей первой книги **«Камень» (1913)**.

Годы учебы в европейских университетах (1907-1910), обитание в поэтической среде того времени и поиск в ней своего голоса – все это заглушило в лирике Мандельштама «народническую» тему: его друг по Санкт-Петербургскому религиозно-философскому обществу (С.П. Каблуков) запишет о нем в своем дневнике:

«Теперь стыдится своей прежней революционной деятельности и призванием своим считает поприще лирического поэта».

Так возник Мандельштам – акмеист, автор «Камня». В этой книге – сродственная Иннокентию Анненскому архитектурная стройность и смысловая прозрачность, а также та самая «акмеистическая» «тоска по мировой культуре», о которой он скажет позднее... Что-то вроде:

**На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.**

**Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко,-**

**Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.**

Этот Мандельштам – точно не «мой»...

4. «Постакмеист»: 1914-1924

Но наступал уже переломный рубеж веков – мировая война... Ее следы появляются уже в стихах, вошедших в переиздания «Камня».

В проклятом 1914 году, закончившем 19-й век, Мандельштам записывает восьмистишие, которое выражает его духовное кредо:

**Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью брэнной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.**

**Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.**

И в 1915 война, «вкатившись» в его стихи черной стихией, станет для Мандельштама навсегда одним из таких «мест» в его микрокосме, начав свой отсчет от Троянской войны:

**Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся.**

**Как журавлиный клин в чужие рубежи, –
На головах царей божественная пена, –**

**Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?**

**И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.**

Мы еще увидим, как в итоговых **«Стихах о неизвестном солдате»** тема войны вырастет до метафизических обобщений, а «журавлиный клин» кораблей обернется «треугольным журавлем» могильного поля...

Так, в следующей книге – **«Tristia» (1922)** – нам является другой, уже переросший акмеизм Мандельштам.

В рецензии на эту книгу **Владислав Ходасевич** напишет:

«Зачинатели так называемого акмеизма манифестировали свой выход из символизма как войну против "превращения мира в химеру". Они хотели вернуть вещам их первоначальный, простейший смысл. Последовательный акмеизм, конечно, стал бы натурализмом, если бы, отколовшись, не захватил с собою "символический прием". Расстаться с символическим приемом акмеисты не сумели – или не решились. Как рудимент символистской двусмысленности, "двузначности" реального мира,

они сохранили любовь к метафоре. Этот метафоризм широко разросся в акмеизме, что вполне естественно, так как никакие другие задачи перед акмеистами не возникли. Поэзия Мандельштама - благородный образчик чистого метафоризма. /.../

Поэзия Мандельштама – танец вещей, являющийся в самых причудливых сочетаниях. Присоединяя к игре смысловых ассоциаций игру звуковых, – поэт, обладающий редким в наши дни знанием и чутьем языка, часто выводит свои стихи за пределы обычного понимания: стихи Мандельштама начинают волновать какими-то темными тайнами, заключенными, вероятно, в корневой природе им сочетаемых слов – и нелегко поддающимися расшифровке. Думаем, что самому Мандельштаму не удалось бы объяснить многое из им написанного».

Прав ли Ходасевич в такой оценке? Думаю, и да, и нет.

Я приведу как пример, стихотворение «Декабрист» (1917):

«– Тому свидетельство языческий сенат, –
Сии дела не умирают».
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит,
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

– Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса,
Вернее труд и постоянство.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставляли на дыбы
На триумфальных поворотах.

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

Как «расшифровать», говоря языком Ходасевича, это стихотворение, этот «танец вещей», и нужна ли вообще эта расшифровка?

Катаев в «Траве забвенья» вспоминает эпизод встречи Мандельштама и Маяковского в магазине, которая закончилась так:

«Маяковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандельштаму, но вдруг, метнув в мою сторону как-то особенно сверкнувший взгляд, протянул руку, как на эстраде, и голосом, полным восхищения, даже гордости, произнес на весь магазин из Мандельштама: – “Россия, Лета, Лорелея”».

Вряд ли восхищение Маяковского было обусловлено какой-либо «расшифровкой». Он просто ощущал и признавал новаторство поэтики Мандельштама.

А вот что заповедовал сам Мандельштам в этот период («Слово и культура», 1921):

«Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днем, тоскуя по глубинным слоям времени, как пахарь, жаждет целины времен...»

Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяют исторический Овидий, Пушкин, Катулл. /.../

Я взял латинские стихи потому, что русским читателем они явно воспринимаются как категория должностования; императив звучит в них нагляднее. Но это свойство всякой поэзии, поскольку она классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было».

Очевидно, это написано Мандельштамом именно в связи с «Tristia» – сборником, название которого заимствовано у одного из знаменитых произведений Овидия, написанного им в изгнании. Название это переводится как «скорби» или «печали».

Но вернемся к «Декабристу», написанному в один из переходных, смутных моментов русской революции на фоне войны с Германией – в июле 1917. Теперь понятно, какую «целину времен» вспахал тут Мандельштам.

«Германские дубы» в сопоставлении с «триумфальными поворотами» квадриг – это переклички с Овидием: именно у него в «Tristia» – падение «буйной Германии», покорение ее Римом (откуда у Мандельштама «шумят» «в первый раз» – очевидно, при падении «германские дубы»), и справляемый Германиком (Юлием Цезарем) триумф, посвященный этому событию (а «тенета», в которых «плакала Европа» – это ведь охотничья сеть...).

Неведомый ссыльный декабрист, восхваляющий цивилизованный Рим («языческий сенат»), обуздавший самовластье, оказывается «вспаханным» Мандельштамовским поэтическим плугом другим ссыльным – Овидием, также восхваляющим цивилизованный Рим, обуздавший германских варваров... И потому есть надежда, что «труд и постоянство» разночинных наследников декабристов «вернее» выведут Россию из самодержавного «варварства», и потому «все перепуталось и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея»...

(Здесь Лорелея – романтический образ Германии, к которому Мандельштам обратится еще раз через 18 лет в «Стансах», рисуя образ Гитлера:

**...И что лиловым гребнем Лорелей
Садовник и палач наполнил свой досуг.)**

Этот пример иллюстрирует, что за «темными тайнами» стихов Мандельштама всегда стоят совершенно конкретные события, явления или предметы, но рассмотренные таким образом, чтобы рожденные смысловые ассоциации выводили на сцену какие-то невербализуемые ощущения.

Каноны стихосложения теряют ввиду такой магии свою обязательность; упрекать Мандельштама в использовании глагольных рифм так же нелепо, как птицу – в ее несоответствии аэродинамическим канонам летательных аппаратов. Рифмы в поэтике Мандельштама – одно из маловажных изобразительных средств; последнее стихотворение в рассматриваемом условном периоде – **«Нашедший подкову»** – написано верлибром...

А вот последнее из этого периода – **«Грифельная ода»** – являет нам Мандельштама-двурушника. Прямо в последних строфах:

**Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик, –
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремль
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подолше гор на твердой почве.**

**И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света;
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык –
Кремень с водой, с подковой перстень.**

5. «Двурушник»: 1924-1930

«Двурушник» с «двойной душой»...

24 октября 1928 года Мандельштам записывает в анкете **«Советский писатель и Октябрь»**, предложенной редакцией газеты «Читатель и писатель»:

«Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня "биографию", ощущение личной значимости... Подобно многим, чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она пока не нуждается».

Жена поэта напишет, позднее, в своих **«Воспоминаниях»**:

«Многие из моих современников, принявших революцию, пережили тяжелый психологический конфликт. Жизнь их проходила между реальностью, подлежащей осуждению, и принципом, требующим оправдания существующего. Они то закрывали глаза на действительность, чтобы беспрепятственно подбирать для нее оправдание, то, снова открыв их, познавали существующее. Многие из них всю жизнь ждали революцию, но, увидев ее будни, испугались и отвернулись. А были и другие — они боялись собственного испуга: еще проморгаешь, из-за деревьев не увидишь леса... Среди них находился и О. М.».

И, далее:

«Двадцатые годы, может, самое трудное время в жизни О. М. Никогда ни раньше, ни впоследствии, хотя жизнь потом стала гораздо страшнее, О. М. с такой горечью не говорил о своем положении в мире. В ранних стихах, полных юношеской тоски и томления, его никогда не покидало предвкушение будущей победы и сознание собственной силы: "чую размах крыла", а в двадцатые годы он твердил о болезни, недостаточности, в конце концов — неполноценности. Этот период закончился тем, что он почти спутал себя с Парноком, чуть не превратил его в своего двойника. Из стихов видно, в чем он видел свою недостаточность и болезнь: так воспринимались первые сомнения в революции: "кого еще убьешь, кого еще прославишь, какую выдумаешь ложь?"... Двурушник это тот, кто пробует соединить "двух столетий позвонки" и не решается приступить к переоценке ценностей».

Парнок – это герой **«Египетской марки» (1928)**, одного из прозаических произведений, написанных в период 1925-29 годов.

В главном стихотворении Мандельштама этого периода – **«1 января 1924»** мы видим мучительный поиск выхода из противочувствий, вызванных конфликтом реальности и ожиданий, собственной индивидуальности и общественного запроса:

**Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеную дорогой,
Белеет совесть предо мной.**

Именно в этом стихотворении знаменитые строчки про **«четвертое сословье»**:

**Ужели я предам позорному злословью –
Вновь пахнет яблоком мороз –**

Присягу чудную четвертому сословью И клятвы крупные до слез?

Но ничего, кроме злословья литературной обслуги новой власти эта рефлексия вызвать не могла. Видный функционер РАПП Лелевич откликнулся на эту исповедь так:

«Насквозь пропитана кровь Мандельштама известью старого мира, и не веришь ему, когда он в конце концов начинает с сомнением рассуждать о “присяге чудной четвертому сословью”. Никакая присяга не возвратит мертвеца».

В этот период Мандельштам прекратил писать стихи и жил переводной поденщиной. В **рецензии («Звезда» № 6)** на его последний сборник **«Стихотворения»**, вышедший в апреле 1928, упомянуто:

«Поэтический путь завершен был Мандельштамом в 1923 году, с выходом “Второй книги”. Поэтому стихи его стоят вне злободневных споров, а являются образцом большой поэтической культуры, тесно примыкающей к современной поэзии. Сейчас Мандельштам перешел на прозу». И только один рецензент заметил, походя, в рецензии на другого автора (в том же журнале), что «...Мандельштам “Грифельной одой” перешел на новые пути»...

Пророческое замечание!

На переводческой стезе Мандельштама и возникло то «дело об Уленшпигеле», которое вывело его из состояния «двuruшника».

И в начале 1930, почти одновременно с началом «Четвертой прозы», им было написано **«Открытое письмо советским писателям»**:

«Я заявляю в лицо Федерации Советских писателей, что она запятнала себя гнуснейшим преследованием писателя, использовав для этой цели неслыханные средства, прибегла к обману и подтасовкам, замалчивала факты, фабриковала заведомо липовые документы, пользовалась услугами лжесвидетелей, с позорной трусостью покрывала и покрывает своих аппаратчиков, замалчивала и покрывала своим авторитетом издательские безобразия, и на первую в СССР попытку писателя вмешаться в издательское дело ответила инсценировкой скандального уголовного процесса. /.../

Я ухожу из Федерации Советских писателей, я запрещаю себе отныне быть писателем, потому что я морально ответственен за то, что делаете вы».

Так начался его путь от «двuruшника» к «отщепенцу» и «пророку», к стихотворению **«Холодная весна. Голодный Старый Крым...»** после поездки туда в мае 1933, хотя еще в 1930, на рассказ **М.Д. Вольпина** о голоде после коллективизации, он отвечал: **«Ну, знаете, вы не замечаете бронзового профиля Истории!»**...

6. «Отщепенец» и «пророк»: 1930-1937

Итак, избавление от «двuruшничества» и переход к противостоянию злу, в которое погружалась страна, началось у Мандельштама через его личный конфликт с привластной писательской средой.

Надежда Мандельштам так пишет об этом в «Воспоминаниях»:

«Попытки договориться с эпохой оказались бесплодными. Она требовала несравненно большего от капитулянтов. А к тому же О.М. вел разговор с революцией, а не с поднимающимся «новым», не с державным миром особого типа, в котором мы внезапно очутились. Объяснения О. М. не имели адресата в нашей действительности. Хор адептов новой религии и государственности, пользовавшийся в своих массах терминологией революции, знать не желал нового разночинца с его сомнениями и метаниями. /.../

Освобождение пришло через прозу, на этот раз «Четвертую». Название это домашнее — она четвертая по счету, включая статьи, а цифра привилась по ассоциации с сословием, о котором он думал, и с Римом — ведь наш-то Рим тоже был четвертым. Именно эта проза расчистила путь стихам, определила место О. М. в действительности и вернула чувство правоты. В «Четвертой прозе» О. М. назвал нашу землю кровавой, проклял казенную литературу, сорвал с себя литературную шубу и снова протянул руку разночинцу — «старейшему комсомольцу — Акакию Акакиевичу». /.../

Почти два года, истраченные на распрю, окупилась во сто крат: «больной сын века» вдруг понял, что он-то и был здоровым. Когда вернулись стихи, в них уже и в помине не было темы «усыхающего довеска». Это был голос отщепенца, знающего, почему он один, и дорожащего своей изоляцией».

Обратимся к «Четвертой прозе»:

«Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?

Когда приходит жестяная повестка или греческое в своей простоте напоминание от общественной организации, когда от меня требуют, чтобы я выдал сообщников, прекратил вороватую деятельность, указал, где беру фальшивые деньги, и дал расписку о невыезде из предначертанных мне границ, я моментально соглашаюсь, но тотчас, как ни в чем не бывало, снова начинаю изворачиваться — и так без конца. /.../

С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю — никак не могу привыкнуть — какая честь! Хоть бы раз Иван Моисеич в жизни кто

назвал!.. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак! Французику – шер-мэтр, дорогой учитель, а мне: Мандельштам, чеши собак! Каждому свое.

Я – стареющий человек – огрызком сердца чешу господских собак – и все им мало, все им мало... С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему? У цыгана хоть лошадь была, а я в одной персоне и лошадь, и цыган...

Жестяные повесточки под подушечку... Сорок шестой договорчик вместо венчика и сто тысяч зажженных папиросочек заместо свечечек...».

И в сентябре 1930, когда Мандельштам был, после поездки в Армению, в Тифлисе, Мандельштам начал писать новые стихи – стихи отщепенца и пророка! Их условно принято делить на 2 группы: «Московские стихи» (октябрь 1930 – февраль 1934), включающие цикл «Армения», и «Воронежские стихи» (апрель 1935 – май 1937).

Надо отметить, что личная биография Мандельштама, его как бы личный конфликт с литературной средой протекал в условиях, когда на страну медленно, но верно опускалась атмосфера страха.

В октябре 1930 ТАСС сообщает о казни 48 «вредителей рабочего снабжения», расправы (пока еще вегетарианские) с партийной оппозицией...

В ноябре 1930 первый секретарь Закавказского крайкома партии В.В. Ломинадзе (которого в Тифлисе посещал Мандельштам), посмеявшийся упрекать партию «в барско-феодальном отношении к нуждам и интересам рабочих и крестьян» (Правда. 1930. 2 дек.), был причислен к «лево-правому блоку Сырцова – Ломинадзе» и снят со всех постов, а затем, в январе 1935, застрелился. «На наших глазах погиб Ломинадзе» – вспоминала Надежда Мандельштам.

А общество – творческая интеллигенция, предпочитало ничего не замечать, предпочитало укрываться от страха старательным, показным весельем. Эта атмосфера «пира во время чумы» («...А чума ощущалась полным ходом» – как комментирует стихотворение Надежда Мандельштам в «Третьей книге») – в новом обращении Мандельштама к античному мифу о похищении Елены Троянской:

**Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни – шерри-бренди, –
Ангел мой.**

**По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.**

**Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.**

**Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли –
Все равно;
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.**

**Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне – соленой пеной
По губам.**

**Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни – шерри-бренди, –
Ангел мой.**

В этом стихотворении (2 марта 1931) – уже возрожденный Мандельштам, готовый принять бой. Который не раз еще примерит к себе образ «бойца» и «солдата».

Та же интонация и через 3 месяца, в мае 1931:

**Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.**

**Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.**

**Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.**

**Не волноваться. Нетерпенье - роскошь,
Я постепенно скорость разовью -
Холодным шагом выйдем на дорожку -
Я сохранил дистанцию мою.**

Это – линия его осознанного «отщепенства», сохраненной собственной «дистанции».

Впрочем, «отщепенцем» он впрямую сам себя называет в том же мае 1931 в стихотворении «**Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...»**:

«...Я непризнанный брат, отщепенец в народной семье...».

А в июне 1931 – опять мотив «чумы» – в стихотворении «**Фаэтонщик**» – но уже не с дерзостью «отщепенца», а с видением «пророка» – реакцией на вид города Шуша, где за 10 лет до этого подверглась избиению и изгнанию армянская часть населения и где «**картина катастрофы и резни была до ужаса наглядной**» (Н. Мандельштам):

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали –
Было страшно, как во сне.

Нам попался фазтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола погонщик,
Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо», –
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо:

Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.

И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы –
Закружились фазтоны,
Постоялые двory...
Я очнулся: стой, приятель!

Я припомнил – черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля...

Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведаль эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

В мае 1932 было написано стихотворение «Ламарк», которое **Юрий Тынянов** называл пророчеством о том, как человек перестает быть человеком, а по Надежде Мандельштам – «это уже не отщепенство и изоляция от реальной жизни, а страшное падение живых существ...»:

Был старик, застенчивый как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходям, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, –
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила –
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

11 ноября 1932 года Мандельштам читал в **редакции Литературной газеты** свои новые стихи.

Театральный журналист **Александр Гладков** (впоследствии драматург и сценарист) писал в дневнике:

«Я знаю чуть ли не на зубок все напечатанное, но новое не похоже на прежнее. Это не «акмеистический» и «неоклассический» Мандельштам – это новая свободная манера, открыто сердечная, как в поразительных стихах о Ленинграде, или тоже по-новому «высокая», как в лучшем из прочитанных «Себя губя, себе противореча...»».

Упомянутое Гладковым стихотворение – «К немецкой речи» – заканчивается так:

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

Здесь, после «Фазтонщика», после «Шерри-бренди» – снова отсылка к «Пиру во время чумы» – важнейшему подтексту «нового Мандельштама». Война или чума – это метафоры «крупных оптовых смертей»,

нависающих над человечеством в эпоху мировых войн. Свое окончательное воплощение этот образ получит в «Стихах о неизвестном солдате»...

Еще одно свежее впечатление от того чтения – в письме Эйхенбауму искусствоведа, текстолога и писателя **Николая Харджиева**:

«Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в продолжение двух с половиной часов. Он прочел все свои стихи (последних двух лет) – в хронологическом порядке! Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший: “Я завидую вашей свободе. Для меня вы новый Хлебников. И такой же чужой. Мне нужна несвобода”. Некоторое мужество проявил только В.Б. <Шкловский>: “Появился новый поэт О.Э. Мандельштам!”

Впрочем, об этих стихах говорить “в лоб” нельзя».

И вот что интересно: в мотивной структуре текстов «нового Мандельштама» происходит возрождение «некрасовской» линии, но не тождественной той, корневой, народнической, которая прозвучала в его первых стихах, а иной – истории сползания общества в мракобесие и порожденной этим трагедии самого Некрасова, подвергнутого остракизму и травле со стороны ближних по духу.

И в этой истории, и в этой трагедии Мандельштам увидел свою собственную судьбу.

7. «Давнишнего страха струя»

Как мы помним, ощущение «отщепенства» проявлялось у Мандельштама и раньше – когда, например, осознав себя «лирическим поэтом» он стал стыдиться своего прежнего тяготения к революционно-народнической проблематике.

Однако в советскую эпоху, наблюдая, как новая «державность» расправляется с его прежними идеалами, Мандельштам начинает ощущать себя снова тем самым «разночинцем», которому он посвятил **«присягу чудную четвертому сословию»** в стихотворении **«1 января 1924»**. Это ощущение дало всходы в период его «отщепенства» и «пророка», например (**«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...», май-июнь 1931**):

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!

Не хныкать –

для того ли разночинцы

Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?

Мы умрем, как пехотинцы,

Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Здесь нужно пояснить, кто же такие «разночинцы» в сложившемся еще в XIX веке понимании.

Это, во-первых, синоним слова «интеллигенция», поскольку именно ее основную часть и составлял этот, не дворянский, быстро росший в то время слой образованных людей. Во-вторых, этим наименованием в литературе того времени обозначались носители либерально-демократической, социалистической и революционной идеологии. Неудивительно, что **Ленин** называл вторую половину XIX века (приблизительно 1861—1895) **«разночинским, или буржуазно-демократическим этапом освободительной борьбы в России»**.

Но откуда я вывожу связь этой «разночинной» самоидентификации «нового Мандельштама» и его мотивной «некрасовской линии»?

Во-первых, очевидно, что Некрасов входил в число его поэтических учителей – тех, чье влияние он готов был декларировать, на что указывает вхождение имени Некрасова в черновой вариант **«Стихов о русской поэзии» (июль 1932)**:

У Некрасова тележка

На торговой мостовой...

Кроме того: **«Чтение Некрасова...»** – одна из немногих подобного рода дневниковых записей Мандельштама (**от 2 мая 1931**) – непосредственно перед упоминанием разночинцев в уже цитированном стихотворении **«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»**.

Но есть еще одно обстоятельство, требующее отдельного рассмотрения.

14 марта 1928 Корней Чуковский делает в дневнике следующую запись о разговоре с Мандельштамом в Госиздате:

«Там Осип Мандельштам, отозвав меня торжественно на диван, сказал мне дивную речь о том, как хороша моя книга “Некрасов”, которую он прочитал только что. /.../ Он говорил, что теперь, когда во всех романах кризис героя – герой переплелся из романов в мою книгу, подлинный, страдающий и любимый герой, которого я не сужу тем губсудом, которым судят героев романисты нашей эпохи. И прочее очень нежное».

Книга, которую читал Мандельштам, это, очевидно, **Чуковский К. Некрасов. Статьи и материалы. Л.: Кубуч, 1926**.

Через 6 лет, в феврале 1934, Мандельштам навещает Чуковского в Кремлевской больнице, и тот записывает в дневнике:

«Снова хвалил мою книгу о Некрасове».

Очевидно, что такой отзыв через 6 лет не мог не быть неформальным – для формального нашлись бы новые поводы.

Обратимся же к этой книге.

Важное место среди помещенных в нее работ самого Чуковского занимает пространное эссе («критический рассказ» по Чуковскому) **«Поэт и палач»**, которое, судя по характеру отзыва Мандельштама, и привлекло его пристальное внимание.

В эссе этом слово **«разночинец»** и его производные встречаются 9 раз, а сам Некрасов обрисован в таком положении, какое Мандельштам имел все основания примерить на себя самого:

«...Перейдя в шестидесятых годах в разночинцы, Некрасов просто вернулся домой, в родную и давно желанную среду... Некрасов, единственный из писателей сороковых годов, мог, не изменяя себе, “отречься от старого мира” и пойти против этого мира в ногу с молодым поколением».

Так что же это за история с Некрасовым в исследовании Чуковского, вызвавшая такое сочувствие Мандельштама?

Эссе начинается прямо с сути этой известной истории:

«Всякий раз, когда заходит речь о грехах и пороках Некрасова, раньше всего вспоминают ту пресловутую хвалебную оду, которую он прочитал Муравьеву-Вешателю на обеде в Английском Клубе 16 апреля 1866 года.

Утверждают, что двуличие Некрасова ни в чем не сказалось с такой очевидностью, как именно в этой чудовищной оде.

В самом деле, как мог революционный поэт восхвалять кровавого усмирителя Польши и побуждать его к новым злодеяниям? /.../

Революционеры проклинали его. Один из ссыльных, лишь случайно ускользнувший от Муравьевской виселицы, писал много лет спустя:

– “При всей подлости этого поступка, какая была в нем доля глупости!.. Мы не говорим уже о гнусности того факта, что литература сочла за свой долг добровольно соперничать с палачами... Некрасов сделал бы меньшую подлость, если бы на собственный счет построил для нас виселицы!..” /.../

Вся литература взволновалась. Поднялась неслыханная травля, которую год спустя Некрасов описывал так:

Гроза, беда!

Облава – в полном смысле слова...

**Свалились в кучу – и готово
холопской дури торжество,**

Мычанье, хрюканье, бляенье

И жеребьячье гоготанье –

А-ту его! А-ту его!».

Принято было считать, что написание и прочтение оды было вызвано «глупым» желанием Некрасова уберечь от закрытия его журнал «Современник» – глупым, поскольку заведомо неисполнимым, но наносящим непоправимый вред его репутации. Однако Чуковский вскрывает в этой истории одно очень важное обстоятельство, которое актуализировалось в СССР именно после 1929 – года «великого перелома». Имя этому обстоятельству – страх, причем сочетаемый с настоящим «культом личности» государя, уцелевшего 4 апреля 1866 от покушения первого российского революционера-террориста Дмитрия Каракозова.

Вот как описывает это **Чуковский**:

«Ликование было искреннее, но все время в нем чувствовался какой-то надрыв. Каждый чрезвычайно хлопотал, чтобы его восторг был замечен. Каждый боялся, что могут подумать, будто он не чувствует восторга. Все относились друг к другу с подозрительной требовательностью и слишком уж демонстративно ликовали. Появились какие-то пьяные, которые ревниво следили за тем, чтобы каждый кричал «ура!». Не снявших шапку беспощадно избивали. Рабье общество умело ликовать лишь по-рабьи. Уже на третий день после выстрела в разговорах и газетных статьях стала чувствоваться зловещая фальшь. Установился особый сентиментально-канцелярский, приторно-казенный язык, которым и надлежало изъяслять свои чувства. /.../

Вообще, по мере того, как патриотизм одних принимал все более мстительный и наглый характер, патриотизм других становился робким и заискивающим.

Эти другие ждали каких-то сверхъестественных кар.

Герцен, например, был убежден, что правительство “будет косить направо и налево, косить прежде всего своих врагов, косить освобождающееся слово, косить независимую мысль, косить головы, гордо смотрящие вперед, косить народ, которому теперь льстят, и все это под осенением знамени, возвещающего, что они спасают царя, что они мстят за него”.

Эта мечь надвигалась, и многодневное ожидание этой мести буквально лишало рассудка самых трезвых и бестрепетных людей. /.../

Сотрудник «Современника» Г.З. Елисеев, человек пожилой и спокойный, с ужасом впоследствии рассказывал, как двадцать пять суток подряд он находился в ежечасном ожидании обыска. Его нервное состояние дошло до того, что он ничего не мог делать, ни о чем не мог думать. “Каждый день

и почти всегда утром приносили известие: сегодня ночью взяли такого-то и такого-то литератора, на другое утро взяли опять таких-то и таких-то. Мало-помалу чуть не половина известных мне литераторов была взята...". /.../

Этот всеобщий испуг дошел до невероятных размеров, когда стало известно, что во главе следственной комиссии поставлен самый страшный в России человек, Муравьев. Если Муравьев, – значит, кончено; значит, пощады не будет. Этот никого не помилует. Все были уверены, что Муравьев, только что распластавший Жмудь, сжигавший мызы, сравнивавший с землей деревни, разорявший костелы, ссылавший целые семейства в Сибирь, так помпезно и празднично вешавший польских ксендзов, в один миг испепелит либералов. Это было безумно, но так верили все, верили, что этот ужасный диктатор может и хочет затопить потоками крови все тогдашние зачатки свободы. Если бы Муравьев поставил на Марсовом поле плаху и стал рубить каждому прохожему голову, это показалось бы в порядке вещей. Ждали каких-то фантастических, неслыханных, еще небывалых кар. Каждому либералу казалось, что на него уже накинута муравьевская петля. "Мы, – предсказывал Герцен, – пройдем страшной бироновско-аракчеевской эпохой... мы пройдем всеми ужасами светского инквизиторства николаевского времени"».

В этом описании (а оно сделано Чуковским задолго до культа личности Сталина, так что мы не можем подозревать тут наличие какого-либо подтекста) мы – как и Мандельштам – можем видеть удивительное (только на первый взгляд) сходство описанной Чуковским политической обстановки середины 60-х годов XIX века с обстановкой нарастающего культа личности 30-х годов века XX. Это с одной стороны. А с другой – удивительно схожий мотив общественной травли обоих «двурушников».

Вот откуда возникли у Мандельштама 30-х и мотив грядущих расправ над нелояльными «разночинцами», и мотив разрешенной «общественной» травли, и фигура Некрасова, символизировавшего благодаря Чуковскому эти мотивы!

Укажем на наиболее важные проявления этих мотивов.

Сначала в 1930, когда уже и на самого Мандельштама велась, говоря словами Некрасова, «**облава – в полном смысле слова**» – в «**Четвертой прозе**», впрямую цитируется стихотворение Некрасова «**Эй, Иван!**», где были такие строки:

Эй, Иван! иди-ка стряпать!
Эй, Иван! чеши собак!
/.../

Пил детина ерофеич,
Плакал да кричал:
«Хоть бы раз Иван Мосеич
Кто меня назвал!»

А вот у Мандельштама:

«С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю – никак не могу привыкнуть – какая честь! Хоть бы раз Иван Моисеич в жизни кто назвал!.. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак! Французику – шер-мэтр, дорогой учитель, а мне: Мандельштам, чеши собак! Каждому свое».

А затем – в ноябре 1933, вскоре после «**Стихов о Сталине**», появляется стихотворение с домашним названием «**Квартира**»:

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.
Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни наглей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю

И грозные баюшки-баю
Кулацкому паю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намёк,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать –
Тебе, старику и неряхе,

Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены

Итак, что же мы видим «некрасовского» в «Квартире» по обоим указанным мотивам?

**Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилия**

1.

Самое очевидное – это атмосфера страха, так замечательно описанная Чуковским и снова воцаряющаяся уже в сталинском СССР. Именно из описания этой атмосфера, из пассажа о том, что **«если бы Муравьев поставил на Марсовом поле плаху и стал рубить каждому прохожему голову, это показалось бы в порядке вещей»** – и возникла Мандельштамовская **«плаха»**, призывающая **«за семьдесят лет начинать»** – то есть, начинать заново, как и семьдесят лет назад (когда, после ареста летом 1862 Н.Г. Чернышевского и создателя революционной организации «Земля и воля» Н.А. Серно-Соловьевича, в Северо-Западном крае М.Н. Муравьев зарабатывал славу «вешателя», подавляя польское восстание), отстаивать честь гражданина – выразителя разночинских идеалов (**«пора сапогами стучать»** – теми самыми, «разночинскими»!).

2.

«Игра на гребенке» (народный способ музицирования с использованием бумаги), сопряженная с «чесанием колхозного льна» – это реминисценция все того же **«Иван, чеши собак!»** – метафора обслуживания лакеем хозяина.

3.

**И грозные баюшки-баю
Кулацкому паю пою.**

Это пение «баюшки-баю» взято из стихотворения Некрасова **«В.Г. Белинский»**:

**В то время как в родном краю
Открыто зло торжествовало,
Ему лишь «баюшки-баю»
Литература распевала.**

4.

**И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намёк,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.**

«Гвозди» – само появление рядом с фамилией Некрасова этого образа по общему мнению исследователей так или иначе связано с темой гвоздей, оказавшей тоже предметом общественного рассмотрения в период его травли.

Эта тема берет начало в стихотворении Некрасова **«Сумерки»** из цикла **«О погоде» (1858-1865)**, заканчивающегося так:

**Увидав, как читатель иной
Льет над книгою слезы рекой,
Так и хочешь сказать: «Друг любезный,
Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок!»**

И Чуковский пересказывает в своем эссе следующий воображаемый эпизод, основанный на воспоминаниях А. Фета:

«Назначение гвоздей – отпугивать мальчишек, которые захотели бы уцепиться сзади. Увидев гвозди, пешеход вспоминает, что у Некрасова в одной сатире сказано:

**...не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок.**

И вдруг, вглядевшись, замечает, к своему удивлению, что в коляске с гвоздями сидит не кто иной, как сам Некрасов, что это коляска Некрасова, и что, значит, сам Некрасов, с одной стороны, утыкал запятки гвоздями, а с другой стороны – гуманно пожалел тех детей, которые могут на эти гвозди наткнуться».

Связь «гвоздей» с Некрасовым очевидна, но что из нее выводят исследователи? Намек на «двуличность» Некрасова (словами **Мережковского**: **«Два Некрасова: один, ставящий гвозди на запятках; другой, эти же гвозди обличающий»**), который Мандельштаму понадобилось, по неясным мотивам, обозначить в этом стихотворении. Но контекст вокруг этих «гвоздей» никак такому прочтению не способствует: гвозди эти явно метафорические, поскольку через них описывается **«Некрасова молоток»**, сравнение с которым возникает от **«мучительной злости» «намеков»**...

Поэтому образ «гвоздей» естественнее считать оторвавшимся от своего источника, связанного и с «запятками», и с «двуличностью» Некрасова, а суть метафоры нужно видеть именно в образе **«Некрасова молотка»** – его ударно-обличительного слога, который возник перед Мандельштамом... Где же? – Да, например,

все там же, в той же самой книге Чуковского (раздел «**Материалы**», «**Как убить вечер**», в современных изданиях – «**Сцены из лирической комедии “медвежья охота”**»), – достаточно прочесть весь тот стихотворный отрывок, окончание которого содержала приведенная выше цитата из эссе Чуковского:

**Пожалуйста, не говори
Про русское общественное мнение!
Его нельзя не презирать
Сильней невежества, распутства, тунеядства;
На нем предательства печать
И непонятого злорадства!
У русского особый взгляд,
Преданьям рабства страшно верен:
Всегда побитый виноват,
А битым — счет потерян! /.../**

**Зато с каким зловещим тактом
Мы неудачу сторожим!**

И так далее.

«**Мучительная злость**» этих строк – это отражение мучительной злости, которую несли в себе «**намек**» общественной травли Некрасова, а через 70 лет – и Мандельштама!

7. Голос из будущего

Мандельштам действительно «наплыл» на русскую поэзию как некая иная вербальная реальность, имеющая дополнительные «измерения».

Он открыл, что слова и смыслы могут взаимодействовать не только путем причинно-следственных связей, не только на основе стилистических приемов, фонетических аллюзий или реминисценций. В его вербальной реальности создание образов – часто на уровне мерцающих и переливающихся спектров ощущений – сродни работе химика по созданию новых веществ. Слова и связанные с ними звуки рассматриваются им не как некие значения, а как некие устремленные в прошлое и будущее процессы, ключи к проявлению которых он ищет в их взаимодействиях.

Поэт Семен Липкин, младший друг и ученик Мандельштама, так писал об этой особенности поэтики Мандельштама:

«...Слово для него было не частью фразы, а частью ритма... Мандельштам требовал от стихотворного слова, чтобы оно прежде всего было музыкой, чтобы смысл ни в коем случае не предрешал слова. /.../

Мандельштам открыл для себя, что слово не живет в стихе отдельной жизнью, что оно связано семейными, родственными, дружескими, историческими, общественными узлами с другими словами, эти узлы существуя, нередко сокрыты от читателей, и поэт обязан их раскрыть и даже обязан пойти на тот риск, что слово будет связано со словом не прямой связью, а а с помощью не прямых, не сразу замечаемых, но, бесспорно, физически существующих связей, порой, более сильных, чем наглядные прямые. Вот они-то и рождают ритм, сами обязанные своим появлением ритму».

Текст, посвященный Мандельштаму, откуда взята эта цитата, называется «**Угль, пылающий огнем...**».

И примеряя, вслед за Липкиным, к Мандельштаму Пушкинского «**Пророка**», нельзя не привести, в заключении, итоговое, в определенном смысле, стихотворение Мандельштама – «**Стихи о неизвестном солдате**», обращенное к нашим сердцам из самых глубин вневременного откровения:

**Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна – вещество...**

**До чего эти звезды изветливы!
Все им нужно глядеть – для чего?
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество.**

**Помнит дождь, неприветливый сеятель, –
Безымянная манна его, –
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.**

**Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать
И в своей знаменитой могиле**

**Заметив облачко над фактом,
Как ступешаться мы спешим!
Как мы вертим хвостом лукаво,
Как мы уходим величаво
В скорлупку пошлости своей!
Как негодуем, как клеветим,
Как ретроградам рукоплещем,
Как выдаем своих друзей!
Какие слышатся аккорды
В постыдной оргии тогда!
Какие выдвинутся морды
На первый план! Гроза, беда!
Облава — в полном смысле слова!..»**

Неизвестный положен солдат.

**Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.**

**И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.**

**Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами –
Растяжимых созвездий шатры,**

Золотые созвездий жиры...

Сквозь эфир десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нулей.

И за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлем,
Весть летит светопыльной обновой,
И от битвы вчерашней светло.

Весть летит светопыльной обновой:
– Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва Народов, я новое,
От меня будет свету светло.

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте, –
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей!

Неподкупное небо окопное –
Небо крупных оптовых смертей, –
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте –

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных – пасмурный, оспенный
И приниженный – гений могил.

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.

И дружит с человеком калека –
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка, –
Эй, товарищество, шар земной!

Для того ль должен череп развиваться
Во весь лоб – от виска до виска, –
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска, –
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится, –
Чаша чаш и отчизна отчизне,
Звездным рубчиком шитый чепец,
Чепчик счастья – Шекспира отец...

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчит в свой дом,

Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный –
Эта слава другим не в пример.

И сознание свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом?

Слышишь, мачеха звездного табора,
Ночь, что будет сейчас и потом?

Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором... –
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья – с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.